

УДК 070 (091)  
ББК 76.01

**Д.В. Туманов**

**ОБРАЗ ПУШКИНА  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ  
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

В статье предметом анализа становится концепт образа А. Пушкина, воплощенный в художественно-публицистическом наследии Русского Зарубежья и рассмотренный в контексте авторского мифа. Выявлены мифологические корни создания образа А. Пушкина, рассмотрены культурные контексты, повлиявшие на его формирование. Подробно проанализированы мотивно-образные комплексы, представляющие данный концепт.

**Ключевые слова:** *публицистика, Русское Зарубежье, пушкиниана, журнал, газета.*

Туманов Дмитрий Валерьевич — канд. филол. наук, доцент кафедры журналистики Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина  
Тел.: (843) 231-52-35  
E-mail: dvt64@mail.ru

© Д.В. Туманов, 2009 г.

В памяти изгнанников А. Пушкин и Россия были неотделимы друг от друга. Политическая позиция А. Пушкина интерпретировалась как примирение с царским режимом из страха перед народным бунтом, его хвалебные отзывы о русском национализме и империализме, бескомпромиссный индивидуализм и духовное вольнолюбие находили горячий отклик у эмигрантской интеллигенции. Внимательно отслеживая процессы интерпретации пушкинского наследия и социального образотворчества в Советском Союзе, писатели Русского Зарубежья вели постоянный публицистический диалог с советской пушкинианой, оказывая влияние и на ее становление, и на пути ее развития. На основе смены взглядов на Пушкина — от примитивно-революционного социологизма двадцатых до антиреволюционной апокалиптичности девяностых, в которой исчезли последние следы литературно-языковой материи, — вполне можно построить всю историю русской культуры последних полутора веков. По словам А. Панченко, «то, что некогда было культурным событием, переходит в разряд культурного обихода» [Панченко, 2000, с. 13].

В апологии А. Пушкина явно прослеживается характерная для большинства литературных произведений «двухуровневая» стилистика, свойственная передаче фольклорных образов в литературе: серьезное, точное биографически и этнографически

описание соседствует с переосмыслением образа новым, «цивилизованным» человеком XX в. Если литераторы начала столетия обычно выбирали одну из черт сложного, амбивалентного образа А. Пушкина, то к концу XX в., при всей кажущейся простоте, образ поэта наполняется интертекстуальностью.

Речь Ф. Достоевского о поэте, сказанная на исходе XIX в., в которой феномен А. Пушкина осмыслялся в контексте предназначения России в мировой истории, в начале двадцатого столетия дала импульс к слиянию двух образов — образа А. Пушкина и образа России — в новых условиях развития русской литературы, расколотой на советскую и эмигрантскую. Осмысляя этот феномен, В. Непомнящий выдвигает тезис: «У Пушкина — особая миссия по отношению к России. Он связал то, что разрубил Петр. Вот почему он — центр нашей культуры, средоточие наших национальных ценностей» [Непомнящий, 2001].

К началу XX в. споры вокруг имени А. Пушкина велись по большей мере в кругу интеллигенции Москвы и Санкт-Петербурга. Провинция, как правило, не участвовала в диспутах, придерживаясь лишь официальных трактовок образа поэта. Опять же, споры эти носили частный характер толкования тех или иных произведений, а потому не могли стать достоянием широких читательских масс.

Надвигалась эпоха тьмы, образно охарактеризованная В. Ходасевичем, когда «эпоха Пушкина — уже не наша эпоха, а писателем древности он еще не сделался, так что научное изучение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, составляет еще достояние немногих» [Ходасевич, 1989, с. 376].

Каждое из декадентских течений (символизм, младосимволизм, акмеизм, эгофутуризм, футуризм) выдвигало свою эстетическую программу, включавшую в себя и отношение к классическому наследию завершающейся эпохи. Первым манифестом социальной этики и эстетики русского символизма стала книга Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» [Мережковский, 1893]. Теоретиком и организатором символизма стал В. Брюсов. Однако он, в отличие от Д. Мережковского, все же не возводил символизм в мировоззренческую категорию, оставляя за ним право лишь как литературной школы. Вскоре возникло новое течение — младосимволизм. Подменяя понятие социальной революции понятием «революции в духе», которую совершит человечество под воздействием искусства, А. Блок, А. Белый, С. Соловьев и другие сторонники этого течения переносили проблемы современности из социальной плоскости в сферу эстетических отношений. У акмеистов — А. Ахматовой, С. Городецкого, О. Мандельштама, Н. Гумилева — основным направлением, ориентиром в искусстве стал изысканный стиль, четкость поэтических конструкций. Д. Бурлюк, В. Хлебников, А. Крученых, В. Каменский, В. Маяковский объедини-

лись вокруг подчеркнуто анархической программы футуризма, провозгласив революцию формы, независимо от содержания, субъективную волю художника, абсолютную свободу поэтического слова и отказ от всех традиций.

Вместе с возникновением русской диаспоры и образованием таких центров культуры Русского Зарубежья, как Прага, Белград, Варшава, Берлин, Париж, Харбин, русская культура начинает жить и развиваться за рубежом не только не в отрыве, но в отчетливом идеологическом, политическом и культурном противостоянии Советской России, осуществляя перманентный диалог-дискуссию с русской советской культурой.

При этом пушкиниана Русского Зарубежья, не только публицистическая, но и всякая иная, долгое время оказывалась на периферии общественных и научных интересов, сначала по политическим мотивам ее оппозиционной антибольшевистской сущности, затем по причинам чрезвычайной сложности настоящей встречи с пушкинианой эмиграции из-за рассеянности источников по многочисленным российским и зарубежным архивам. Между тем идентичность проблем, поднимаемых Советской Россией и «Россией за пределами России», по образному выражению современного американского слависта, историка и культуролога эмиграции М. Раева [Раев, 1994], позволяет говорить о литературе и публицистике СССР и Русского Зарубежья как едином культурном явлении, что, в конечном итоге, и помогло осуществить постсоветский реэмиграционный процесс.

В эмигрантских газетах периода Гражданской войны имя А. Пушкина встретить почти невозможно: редкие сообщения носят характер сугубо культурной информации, — военные действия и политические акции заслоняли собой все.

Одним из самых крупных событий начала двадцатых годов был Съезд национального объединения, открывшийся в Париже 6 июня 1921 г. Совпадение этого события с днем рождения А. Пушкина оказалось символическим. Помимо теоретических вопросов осмысления политического строя Советской России, ее экономического положения и анализа русского опыта коммунизма, съезд решал практические задачи выработки программы русского национального объединения. Впоследствии оказалось, что сама идея объединения всех сил Русского Зарубежья для спасения Родины трудно материализуется. В центр своего национального сознания эмигранты поместили образ А. Пушкина, — и это была самая удачная их находка.

Размышляя об этом, М. Раев полагает, что именно это решение, с готовностью и энтузиазмом воплощенное в 1937 г. в торжествах русской эмиграции, побудило советское руководство отметить столетнюю годовщину смерти А. Пушкина с такой помпой, размахом и в таком же именно

духе, в каком Русское Зарубежье чествовало создателя современного литературного русского языка [Там же, с. 122].

Сквозь все, написанное о нем в Русском Зарубежье, можно прочертить традиционный для России треугольник: Православие — Самодержавие — Народность. А. Пушкин и впрямь искушает говорить не о нем, а о себе. Размышляя об этом, Д. Лихачев полагал, что «тайна безмерного обаяния Пушкина в том, что в каждое мгновение жизни, в каждой ее песчинке видел, ощущал, переживал огромный, вечный вселенский смысл» [Лихачев, 1989, с. 9].

В критических статьях писателей-философов Русского Зарубежья С. Булгакова, Вяч. Иванова, И. Ильина, А. Карташова, Д. Мережковского, С. Франка, И. Шмелева и других доминируют представления о поэте как пророке, учителе и духовном вожде нации. Разнообразные формы сакрализации А. Пушкина сопрягаются с идеей гармонического объединения в его гении противоположных начал национального духа и национального бытия. Более того: «Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта», — утверждал Г. Федотов [Федотов, 1990, с. 375].

Пафосу религиозно-философской интерпретации А. Пушкина в изгнаннической России противостоит трезво-эмпирический подход В. Набокова, В. Ходасевича, М. Цветаевой, в произведениях которых А. Пушкина предлагалось любить «не за проблематическое духовное преобразование, а за реально данную нам его поэзию — страстную, слабую, греховную, человеческую» [Ходасевич, 1990, с. 493].

Здесь перед нами четко выраженные линии, наметившиеся в социальном образотворчестве и мифологизации образа А. Пушкина еще в дореволюционное время: поэт-пророк и чистый поэт. Самое яркое воплощение первого мифа — работы Д. Мережковского «Пушкин» (1896) и «Лев Толстой и Достоевский» (1900–1901). Источником второго мифа является статья В. Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899). В конце 80-х гг. XX в., уже в перестроечной России такое противостояние прослеживается в работах А. Синявского, скрывшегося под псевдонимом Абрам Терц, «Прогулки с Пушкиным» (1975) и В. Непомнящего «Пророк. Художественный мир Пушкина и современность» (1987).

За каждым из этих подходов стояла та культурная парадигма, которая сформировалась на рубеже веков: при всей серьезности разработки одной из двух линий социального образотворчества («пророк» — «поэт»), всех пишущих объединял глубоко личностный, авторизованный взгляд на личность и творчество поэта, когда критическое эссе о А. Пушкине неожиданно — даже для самого автора — оборачивалось автобиографическим очерком.

Но прежде чем взглянуть на «невероятные сооружения», которыми окружило А. Пушкина Русское Зарубежье, — несколько слов о разделяе-

мой мною позиции взгляда на русскую эмиграцию. Сложность, которую испытывает любой исследователь этого феномена, заключается в том, что литература эмиграции слишком тесно переплетена с политикой. И предложение Карла Шлегеля «воспринять эмиграцию и связанный с ней раскол России в первую очередь не как политическое, а как культурно-цивилизационное членение» [Scheogel, 1991, S. 238–256], думаю, слишком упрощает ситуацию. Как, вероятно, не совсем правы и те, кто сводит литературно-публицистическую деятельность изгнанников из России только лишь к политическому противостоянию между отдельными партиями в Русском Зарубежье и в целом с большевизмом.

Если же учитывать, что традиции послереволюционной эмигрантской прессы на русском языке в Германии начали формироваться в 1918 г., в Праге и Париже — в 1919 г., а в Белграде и Харбине — в начале 1920-х гг., когда, несмотря на различные политические и художественные ориентиры, периодика была единственным объединяющим звеном между эмигрантами, — литературно-художественный, публицистический процесс в зарубежье представлял собой богатый спектр разноплановых явлений. Публицистика в эмиграции стала своеобразным проводником по всем областям жизни. Как справедливо указывал Г. Жирков: «Это богатейшая творческая лаборатория журналистики в особых условиях, где находилось место для выступлений не только публицистов, журналистов и литераторов, но и философов, социологов, теологов и материалистов, историков, политиков и литературоведов, монархистов, социалистов, демократов и республиканцев» [Жирков, 1998, с. 4].

Горячие, злободневные споры изгнанников на страницах своих изданий об ответственности за прошлое и настоящее России, идеологические противостояния из-за выбора тактики или программы в связи с теми или иными событиями в Советском Союзе сочетались в Русском Зарубежье с широким историософским размахом, с продуманностью концептуальных посылок и выводов. Тайна А. Пушкина сосредоточивалась, прежде всего, по мнению эмигрантов, не в политической злободневности и революционной настроенности его мысли, а в его пророческой миссии. «Пушкин учил Россию видеть Бога и этим видением утверждать и укреплять свои сокровенные, от Господа данные национально-духовные силы, — утверждал И. Ильин в своей торжественной речи, неоднократно повторенной в 1937 г. в различных эмигрантских кругах. — Из его уст раздался и был пропет Богу от лица России гимн радости сквозь все страдания, гимн очевидности сквозь все пугающие земные страхи, гимн победы над хаосом» [Ильин, 1999, с. 222].

Несмотря на то что А. Пушкин жил и умер с репутацией либерала и религиозного вольнодумца, если не атеиста, традиции, заложенные Ф. Достоевским, перенесшим разговор о поэте в сферу духовно-нравственную, продолжали утверждаться: критики все яснее обнаруживали в пушкин-

ском творчестве мотивы религиозные, христианские, православные... Пока советское пушкиноведение исследовало фактологию, текстологию, поэтику, стилистику, биографические и историко-литературные проблемы, Русское Зарубежье сосредоточилось на исследовании А. Пушкина в плане духа, с философской, нравственной, метафизической, религиозной стороны.

«Определяющим началом в мышлении Пушкина в пору его зрелости, — полагал протоиерей С. Булгаков, — было духовное возвращение на родину, конкретный историзм в мышлении, почвенность. В этом же контексте он понимал и значение православия в исторических судьбах русского народа. Последнее, естественно, пришло вместе с преодолением безбожия и связанной с этим переоценкой ценностей. Действительно, мог ли Пушкин, с его проникающим в глубину вещей взором, остаться при скудной и слепой доктрине безбожия и не постигнуть всего величия и силы христианства?» [Булгаков, 1937, с. 21].

Даже смерть поэта, свершившаяся, в общем-то, в нарушение заповеди «не убий», — вдруг обретает высокое христианское звучание. Разбирая, какова «подлинная» причина убийства А. Пушкина, епископ Леонтий (Туркевич) убеждается, что тот «мстил французу-католику и за его иезуитскую изворотливую мораль. Он выступал ревнителем — если хотите — самого Православия. <...> Он до некоторой степени умирал мучеником за чистоту освященного <...> Церковью законного брака» [Туркевич, 1937].

Пушкинский 1937 г. совпадал с двадцатилетием Октября, которое большевики готовились отметить с небывалым размахом. Противопоставить этому эмиграции было практически нечего. Требовалось решение неожиданное, некий парадоксальный шаг, совмещающий в себе политическое выступление с явственно выраженной аполитичностью. И этим шагом, этим неординарным решением мог стать А. Пушкин. Уже в середине 1934 г. на совещании в парижской квартире лидера влиятельной кадетской партии, знаменитого историка, редактора крупнейшей русской эмигрантской газеты «Последние новости» П. Милюкова было принято решение об организации всемирного чествования А. Пушкина в связи со столетием его гибели.

Как писал в своей книге «Моя зарубежная Пушкиниана» один из участников того совещания прима-танцовщик и балетмейстер Парижской Оперы, видный пушкинист Русского Зарубежья Сергей Михайлович Лифарь, «Пушкин чествовался в 1937 году <...> во всех пяти частях света: в Европе в 24 государствах и в 170 городах, в Австралии в 4 городах, в Азии в 8 государствах и 14 городах, в Америке в 6 государствах и 28 городах, в Африке в 3 государствах и в 5 городах, а всего в 42 государствах и в 231 городе», ему отдали дань уважения «166 Пушкинских Комитетов, из них 127 в Европе, 4 в Австралии, 9 в Азии, 21 в Америке и 5 в Африке» [Лифарь, 2000, с. 61–62]. Пушкинские спецвыпуски эмигрантских

изданий появились в тот год почти во всех странах, где осели русские изгнанники, не говоря уже об устройении ими выставок, публичных выступлений и публицистических вечеров, отмеченных именем А. Пушкина. И было бы просто невозможно — даже в беглом обзоре — перечислить все, что происходило на этих юбилейных торжествах. Хотя уже в те дни в Париже появился специальный номер «Иллюстрированной России», попытавшийся представить панорамный срез «пушкинского года», — но, листая его, понимаешь: истинного представления о масштабах торжеств не имела и сама эмиграция.

Подводя итоги пушкинским торжествам, Ф. Степун отметил: «Конечно, эмиграция и Советская Россия чтили и чествовали не одного и того же Пушкина, а двух весьма далеких друг от друга, различных, но все же во всеобъемлющем единстве поэта заключенных. Советская Россия праздновала популярного Пушкина всей левой интеллигенции, вольнодумца, гордого тем, что в свой жестокий век прославил он свободу и милость к падшим пробуждал. Эмиграция же чествовала Пушкина, впервые увиденного Достоевским, человека всеобъемлющей души и всепонимающего сердца» [Степун, 1962, с. 45].

Внимательно отслеживая события в СССР, Г. Федотов более недоверчиво, чем Ф. Степун, отнесся к событиям 1937 г.: «Слишком уже вопиюще противоречие между Пушкиным и сталинизмом. <...> Только презрением к человечеству — или к русскому народу — можно объяснить пушкинский либерализм Сталина: это быдло никогда не поймет! А что, если поймет? Если Пушкин, наконец, станет “сеятелем свободы” в родной стране?» [Федотов, 1937, с. 38]. Впрочем, не идеализируя своих собратьев по изгнанию, Г. Федотов весьма откровенно охарактеризовал и положение в диаспоре: «Как обстоит дело с русской культурой, которую мы призваны здесь “хранить”? Для большинства она исчерпывается пошлым романсом и патриотическим лубком прошлого столетия. Вся пропыленная, засиженная мухами обстановка глухой русской провинции, которая раньше стыдливо пряталась, теперь бесстыдно выпирает наружу, требует себе признания — на наших публичных собраниях, на литературных вечерах, на страницах журналов. <...> Одни ненавидят культуру как создание интеллигенции — политического врага. Другие — масса молодежи — убеждены, что Россия потребует от них экзамена в воинском строе, а не в знании Пушкина», — и пушкинские торжества в Русском Зарубежье, по его мнению, лишь «свидетельствуют о страшном упадке вкуса, о несомненной деградации» [Федотов, 1935, с. 67].

В том, что писалось о А. Пушкине в Русском Зарубежье, можно выделить три основные темы, касаясь которых, авторы вступали в прямое столкновение со своими заочными советскими оппонентами. Это, прежде всего, глубина и особенности религиозного сознания поэта, о чем наиболее определенно и подробно писал С. Булгаков. Другой полемической те-

мой являлось исследование А. Пушкина как политического мыслителя, нашедшее отражение в публицистике С. Франка и Г. Федотова. И, наконец, третье направление связано с анализом советской действительности сквозь призму отношения к А. Пушкину — фельетоны И. Тхоржевского и Дон Аминадо...

В годы войны, когда эмигранты практически лишились возможности издавать в Европе свои газеты, журналы и альманахи, стала исчезать и пушкиниана. В оккупированном Париже, в 1941 г., выходит в свет тоненькая книжица на русском языке — «Изучайте Пушкина!» Ее автор, уже смертельно больной Владимир Львович Бурцев, известный разоблачитель Азефа, оказавшись в эмиграции, увлекся пушкинизмом. Конечно, все его труды отдавали дилетантизмом, не исключение и эта, последняя в его жизни, брошюра. Вероятно, академический пушкинизм никогда не возвратит ее в наше бытие. Но она свидетельствует о том, что пушкиниана приобретала в Русском Зарубежье народный характер, это была идеология выживания.

В своей статье, относящейся по времени создания к началу Второй мировой войны, перманентную обращенность первой волны эмиграции к поэту Г. Адамович объяснял вездесущностью А. Пушкина: «Иногда русский художник <...> совершенно забывает о нем, надолго уходит в свой замысел: однако, если замысел этот национально обоснован, т.е. не вздорен и призрачен, а чему-то реальному отвечает, художник где-нибудь, порой на самом неожиданном перекрестке, встречает Пушкина и чувствует, что нельзя его обойти» [Адамович, 1940].

В своем выступлении на торжественном заседании парижского Центрального Пушкинского комитета в 1937 г. Д. Мережковский предложил иное видение востребованности поэта в Русском Зарубежье: «Пушкин продолжает дело Петра. Оба они знают или пророчески угадывают, что назначение России соединить Европу и Азию, Восток и Запад в грядущей всемирности. <...> Вот почему сейчас так, как еще никогда, нужен Пушкин обеим Россиям. Что их две — одна здесь, в изгнании, другая там, в плену, — это очень страшно; этого не бывало никогда ни с одним народом; но надо смотреть правде в глаза, это сейчас так: на две половины расторгнута Россия, и мы только верим, что обе половины соединятся. Непреложное свидетельство единой России — Пушкин. <...> Он — огненный столп, ведущий нас в пустыне изгнания на Родину» [Мережковский, 1937, с. 21]. Такое откровение чрезвычайно важно для понимания ментальности первой волны русской эмиграции и места в нем сконструированного эмигрантской публицистикой образа А. Пушкина.

Если представители первой волны эмиграции уезжали из России с любовью к ней, то эмигранты второй и третьей волн покидали страну с ненавистью. Когда в середине 1970-х гг. в Париже была предпринята попытка устроить встречу всех волн русской эмиграции, она провалилась:



потомки эмигрантов первой волны не смогли найти общий язык с новым поколением. У советских эмигрантов второй и тем более третьей волны сформировалась уже другая ментальность; разный опыт, мировоззрение, даже разный литературный язык мешали возникновению связей между поколениями.

«Первая русская эмиграция не дожидалась столетнего юбилея, чтобы в имени Пушкина найти себе оправдание и опору. Октябрьская революция — университетская пугачевщина по пророческому определению Жозефа де Местра, — была победой антипушкинского начала, которое выразилось еще до этого в писаревщине и в требовании Маяковского сбросить Пушкина с корабля современности. Как бы в противовес, по почину «Союза русских просветительных и благотворительных обществ» в Эстонии был устроен в 1924 г. первый праздник «Дня русского просвещения», приуроченный к 125-летней годовщине со дня рождения Пушкина», — писал Н. Струве о роли пушкинского наследия в формировании менталитета «России вне России» [Струве]. Эмиграции необходим был символ, потребность ощутить нечто высшее, что могло бы над партиями соединить эмигрантов между собой и всех их в совокупности с потерянной родиной. Таким символом оказался пушкинский язык, та русская речь, которая была создана поэтическими опытами Пушкина.

Однако к началу третьей волны эмиграции ситуация в литературе изменилась. После 1934 г. контакты между эмигрантами и советскими гражданами прекратились окончательно, русская эмиграция оказалась в полной изоляции. Между тем русский язык за пятьдесят лет советской власти претерпел значительные изменения, творчество представителей третьей волны складывалось не столько под воздействием русской классики, бывшей литературным ориентиром эмигрантов первой волны, сколько под влиянием популярной в 1960-е годы в СССР американской и латиноамериканской литературы. Блестяще переведенные Р. Райт-Ковалевой произведения Дж. Сэллинджера стали больше, чем просто популярным чтением для молодежи и открытием интересного писателя, с них начались некая «американизация» отечественной молодежной субкультуры, оформление ее сленга, определение фундаментальных понятий, поведенческих стереотипов и т. д. [Ажгихина, 1992, с. 109–115].

«Писатель — диссидент изначально, но не в том смысле, как часто думают. Советская литература рождает антисоветскую литературу, которая иной раз выглядит, как ее зеркальное отражение. Я бы сказал, что истинная единая русская литература — это и не советская, и не антисоветская, но внесоветская литература», — сказал В. Аксенов на конференции по третьей волне в Лос-Анджелесе [Цит. по: Ажгихина, 1992, с. 112].

Писатели третьей волны оказались и в эмиграции в совершенно новых условиях, поскольку, в отличие от эмигрантов первой и, в какой-то степени, второй волн, не ставили перед собой задач «сохранения культуры».

Одной из основных черт русской эмигрантской литературы третьей волны станет ее тяготение к авангарду, постмодернизму. Вместе с тем третья волна была достаточно разнородна: в эмиграции оказались писатели реалистического направления (А. Солженицын, Г.Владимов), постмодернисты (С. Соколов, Ю. Мамлеев, Э. Лимонов), нобелевский лауреат И. Бродский, антиформалист Н. Коржавин.

В 1975 г. А. Синявский выпустил во Франции книгу «Прогулки с Пушкиным». С этого момента Пушкин становится центральным персонажем постмодернистской поэзии и постоянным объектом деконструкции: «наше все» стало эмблемой всего чего угодно — атеизма и православия, диссидентства и державничества, морализма и эротоманства, традиционализма и разрушения традиций, превратившись в «наше ничто». А. Синявский одним из первых показал, что в личности и текстах самого Пушкина скрыт тот плюрализм, который и стал основой философии постмодернизма. После него, по замечанию А. Битова, «Пушкин — уже не имя собственное, а слово» [Битов, 1991, с. 571]. Сам образ Пушкина превращается в анекдотическую ситуацию, в портрет из учебника, воспринятый глазами школьника, в серую картонную обложку издания «Учпедгиза». Так, в стихотворении И. Бродского «Представление» есть строка — «Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах — папироса» [Бродский, 1994, с. 114], — напрямую апеллирующая к известному анекдоту, где инициалы «А. С.» читаются как слово «ас», обозначающее в переводе с французского «первый в своей области» — титул военных летчиков, в совершенстве владеющих искусством пилотирования и воздушного боя. Л. Лосев обращает внимание и на строки И. Бродского — «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета мой Дантес», — где персонажи из биографии поэта становятся такими же пустыми словами, штампами, некими кодами, коннотативное значение которых может быть отнесено к широкому ряду ассоциаций [Лосев, 1996, с. 144].

«Сегодняшняя Россия с тем лучшим, что там появляется в литературе, для нас не чужая и не закрытая страна. И наши читатели не только здесь, но и в современной России, — заметил в эмиграции А. Синявский. — Да и шире рассуждая, нынешняя эмиграция куда теснее связана с метрополией, чем это было в прошлом. В наши задачи входит укрепление этих мостов и наведение новых» [Синявский, 1982, с. 155]. Эта же мысль звучит в выступлениях и В. Войновича, и В. Аксенова, и С. Довлатова, и многих других авторов. В. Аксенов, правда, уточняет: «Что касается меня, то я отношу себя к русским космополитам, и в этом нет противоречия. Пушкин ни разу не выезжал за границу, но был самым настоящим русским космополитом. Им же был и Гоголь, хотя он не мог жить без перемещений. Русские писатели за границей писали очень плодотворно, примеров тому немало» [Писарев, 2005].

Русская эмиграция первых двух волн настороженно восприняла эти эксперименты. «Пушкин — это солнце, и он необсуждаем», — пояснил в беседе со мной Никита Струве, потомок эмигрантов первой волны. Выпускник Сорбонны, профессор славистики, он уже почти полвека возглавляет известнейшее в Европе парижское издательство «УМСА-Пресс». Среди его работ — антология русской поэзии Золотого и Серебряного века с собственными переводами на французский язык стихотворений Пушкина, Лермонтова, Фета, Ахматовой и других поэтов. В 1996 г. он издал на французском языке труд об истории русской эмиграции. Разговор с ним состоялся в Париже 4 августа 2007 г..

«Вся наша культура, словесная, во всяком случае, свидетельствует о Христе, — размышлял тогда Струве. — И причем это не только свидетельство о Христе, но часто еще и мученичество. Мы и к Пушкину относимся, может быть, не в буквальном смысле как к святому, но как к мученику: он был замучен своими поисками правды».

Но в этом сакрально-незыблемом понимании литературы как мучительном поиске правды эмигранты третьей волны и видят слабость своих предшественников. «Та, куда более блестящая, чем у нас сейчас, литература первой эмиграции, объявившая в 1922-м году, что с ее уходом за границу ничего творческого в России не осталось, не прошло и десяти лет, должна была признать свой глубочайший кризис. Причин много. И, может быть, одна из причин упадка, что литература слишком уж придерживалась столбовой, проторенной дороги, т. е. жила по инерции и не искала нового», — заявил А. Синявский [Синявский, 1982, с. 155]. Размышляя над сегодняшним восприятием символа «России вне России», А. Кленов и вовсе безапелляционно бросает потомкам эмигрантов первой волны: «Откровенность Пушкина в их изложении представляется в наше время чем-то вроде наготы античных статуй, ни у кого не вызывающей особого интереса. Пушкина почти не читают, и не только по вине школьных учителей: самый склад эмоций в наше время бесконечно далек от чувствительности тех времен, и Пушкин попросту не нужен. Но, как мы видим, интерес к нему не убывает» [Кленов, 1982, с. 91].

Мысль эта не нова для эмигрантов «третьей волны». Разворачивая ее в ряд художественных образов, С. Довлатов создает свой «Заповедник». Отметим попутно, что творчеству С. Довлатова свойственно соединение гротескового мироощущения с отказом от моральных инвектив, выводов. Он изображает Пушкиногорье своеобразным русским Диснейлендом: тут, на заводе по производству фантомов, нет и не может быть ничего подлинного.

Таким стал бережно хранимый эмигрантами первой волны образ Пушкина на их исторической Родине, спустя семьдесят лет после их исхода.

Реэмиграция, возвращение в Россию посткоммунистическую, вызвана острым желанием потомков эмигрантов первой волны вернуть свою

историческую родину на путь высокой духовности и миссионерского служения. Издания И. Шмелева, Б. Зайцева, Н. Тэффи, Д. Мережковского, Г. Струве, А. Ремизова и многих других представителей довоенной эмигрантской волны, говоря словами Н. Струве, напоминая обновленной России, что «к символам надо относиться крайне совестливо и осторожно», являют собой претензию на то, чтобы эмиграция первой волны получила всеобщее признание, и прежде всего в стране ее исхода, как неотчуждаемая часть национального достояния, как носительница главных ценностей, против которых как раз и вооружалась революция 1917 г.

### Литература

1. *Адамович Г.В.* Пушкин и Чайковский // Последние новости. 1940. — 6 февраля.
2. *Ажгихина Н.* Уроки «третьей волны» // Общественные науки и современность. 1992. № 3.
3. *Битов А.* Битва // Жизнь в ветреную погоду. Л., 1991.
4. *Бродский, И.* Представление // Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. Т. 3. СПб., 1994.
5. *Булгаков С.Н.* Жребий Пушкина // Новый Град. 1937. № 12.
6. *Жирков Г.В.* Между двух войн: Журналистика Русского Зарубежья. 1920–1940 гг. — СПб., 1998.
7. *Ильин И.А.* Пророческое призвание Пушкина // Речи о Пушкине: 1880–1960-е гг. — М., 1999.
8. *Кленов А.* Пушкин без конца // Синтаксис. 1982. № 10.
9. *Лифарь С.М.* Всемирный Пушкинский Зарубежный Комитет 1937 г. // Центральный Пушкинский Комитет в Париже (1935–1937). Т. 1. М., 2000.
10. *Лихачев Д.С.* Пушкин и мы // «Минувшее меня объемлет живо...» / Сост. Ю. Осипов. М., 1989.
11. *Лосев Л.* От переводчика // Знамя. 1996. № 6.
12. *Мережковский Д.С.* О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы СПб., 1893.
13. *Мережковский Д.С.* Пушкин и Россия // Иллюстрированная Россия. 1937. № 7.
14. *Непомнящий В.С.* Пушкин и судьба России [Электронный ресурс] // Глагол. — Электрон. дан. — М., 2001. — Режим доступа: <http://www.glagol-online.ru/arc/n5/115/>, свободный.
15. *Панченко А.* О русской истории и культуре. СПб., 2000.
16. *Писарев Е.* Василий Аксенов: Я московский эмигрант // Российская газета — Черноморье. 2005. 4 октября.
17. *Раев М.И.* Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919–1939. М., 1994.

18. *Синяевский А.* О критике // Синтаксис. 1982. № 10.
19. *Степун Ф.А.* Духовный облик Пушкина // Вестн. Российского Студенческого Христианского Движения. 1962. № 65.
20. *Струве Н.С.* Русская эмиграция и Пушкин [Электронный ресурс] // История в России. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://ricolor.org/history/ge/15/>, свободный.
21. *Туркевич Л.* Какова подлинная причина убийства Пушкина? // Новое Русское Слово. 1937. 7 февраля.
22. *Федотов, Г.П.* Новый идол // Современные записки. 1935. № 57.
23. *Федотов, Г.П.* Пушкин и освобождение России // Новая Россия. 1937. № 21.
24. *Федотов Г.П.* Певец империи и свободы // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в. М., 1990.
25. *Ходасевич В.Ф.* Колеблемый треножник // Пушкинист. М., 1989.
26. *Ходасевич В.Ф.* «Жребий Пушкина», статья о С.Н. Булгакова // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX вв. — М., 1990.
27. *Shloegel K.* Das «andere Russland». Zur Wiederentdeckung der Emigrationsgeschichte in der Sowjetunion // *Geyer D.* (Hrsg.) Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Gottingen, 1991.